

ОДА РУССКОМУ
ОГОРОДУ



Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встречь, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним листом. Стою на житейском ветру голым деревом, завывают во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы.

И все не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу. Багровый свет пробивается сквозь немую уже толщу времени, и, сплюснутая, окаменелая, но не утерявшая запаха гари и крови, клубится она во мне.

Успокоения хочется, хоть какого-нибудь успокоения. Но нет его даже во сне, и во сне мучаюсь я, прячусь от взрывов и где-то за полночь начинаю с ужасом понимать: это уже не та война, от теперешних взрывов не спрятаться, не укрыться, и тогда покорно, устало и равнодушно жду последней вспышки — вот сверкнет бело, ослепительно, скорчит меня последней судорогой, оплавит и унесет искрой в глубину так и не постигнутого моим разумом мироздания. И вижу ведь, явственно вижу искорку ту, ощущаю ее полет. Оттого вижу, что был уже песчинкой в огромной буре, кружился, летал где-то между жизнью и смертью, и совсем случайно, капризом или волей судьбы не унесло меня в небытие, а сбросило на изнуренную землю.

Сколько раз погибал я в мучительных снах! И все-таки воскресал и воскресал. На смену жутко гудящему огню, гремучему дыму взрывов неожиданно хлынут пестрые поляны в цветах; шумливая березовая роща; тихий кедрач на мшиной горе; вспененная потоком река; коромысло радуги над нею; остров, обме-

таннный зеленым мохом тальника; степенный деревенский огород возле крестьянского двора.

И лица, лица...

Явятся все женщины, которых хотел бы встретить и любить, и, уже снисходительный к ним и к себе, не протягиваю им руки, а вспоминаю тех женщин, которых встретил и любил на самом деле. С годами я научился утешать и обманывать себя — воспоминания об этих встречах сладостней и чище самих встреч...

Память моя, сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость, и отравляющую сладость одиночества. И воскреси — слышишь? — воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него. Ну хочешь, я, безбожник, именем Господним заклинать тебя стану, как однажды, оглушенный и ослепленный войною, молил поднять меня со дна мертвых пучин и хоть что-нибудь найти в темном и омертвелом нутре? И вспомнил, вспомнил то, что хотели во мне убить, а вспомнив, оживил мальчика — и пустота снова наполнилась звуками, красками, запахами.

Мне говорили: этакая надсада не пройдет даром! Буду я болел и от нервного перенапряжения не доживу сколько-то лет, мне положенных. А зачем они мне, эти сколько-то лет, без моего мальчика? И кто их считал, годы, нам положенные?

Озари же, память, мальчика до каждой веснушки, до каждой царапинки, до белого шрама на верхней губе — учился когда-то ходить, упал и рассек губу о ребро половицы.

Первый в жизни шрам.

Сколько потом их будет на теле и в душе?

...Далеко-далеко возникло легкое движение, колыхнулась серебряная нить, колыхнулась и поугасла, слилась с небесным маревом. Но все во мне встрепенулось, отозвалось на едва ощутимый проблеск памяти. Там, в неторопливо приближающемся прошлом, по паутине, вот-вот готовой оборваться, под куполом небес, притушив дыхание, идет ко мне, озаренный солнцем, деревенский мальчик.

Я тороплюсь навстречу ему, бегу с одышкой, переваливаюсь неуклюже, будто линялый гусь по тундре, бухаю обнажившимися костями по замшелой мерзлоте. Спешу, спешу, минуя кроволития и войны; цехи с клокочущим металлом; умников, сотво-

ривших ад на земле; мимо затаенных врагов и мнимых друзей; мимо удушливых вокзалов; мимо житейских дрязг; мимо газовых факелов и мазутных рек; мимо вольт и тонн; мимо экспресов и спутников; мимо волн эфира и киноужасов...

Сквозь все это, сквозь! Туда, где на истинной земле жили воистину родные люди, умевшие любить тебя просто так, за то, что ты есть, и знающие одну-единственную плату — ответную любовь.

Много ходившие больные ноги дрогнули, кожей ощутив не тундровую стынь, а живое тепло огородной борозды, коснувшись мягкой плоти трудовой земли, почувяли ее токи, вот уже чистая роса врачует садины.

Много-много лет спустя узнает мой мальчик, что такой же, как он, малый человек, в другой совсем стороне, пережив волнующие минуты полного слияния с родной землей, прошепчет со вздохом: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто...»

...Беру в свою большую ладонь руку мальчика и мучительно долго всматриваюсь в него, стриженного, конопатого, — неужто он был мною, а я им?!

* * *

Дом мальчика стоял лицом к реке, зависая окнами и завалинкой над подмытым крутоярем, заросшим шептун-травой, чернобыльником, всюду пролезающей жалицей. К правой скуле дома примыкал городьбою огород, косо и шатко идущей вдоль логга, в вешневодье залитого до увалов дикой водою, оставлявшей после отката пластушины льда и свежие водомоины — земельные раны, которые тут же начинало затягивать зеленой кожей плесени. По чуть приметной ложбине вода иными веснами проникала под жерди заднего прясла, разливалась под самой уж горой, заполняла яму, из которой когда-то брали землю на хозяйственную надобность. В яме-бочажине, если год бывал незасушливый, вода кисла до заморозков, лед на ней получался комковатый, провальню-черный, на него боязно было ступать. В бочажине застревали щурята, похожие на складной ножик, и гальяны, проспавшие отходную водотечь. Щурята быстро управлялись с гальянами, самих щурят ребяташки выдергивали волосяной петлей, либо коршунье и вороны хватили, когда они опро-

кидывались от удушья кверху брюхом — в яму сваливали всякий хлам.

Летом бочажина покрывалась кашей ряски, прорастала вдоль и поперек зеленой чумой, и только лягухи, серые трясогузки да толстозадые водяные жуки обитали здесь. Иной раз прилетал с реки чистоплотный куличок. «Как вы тут живете? — возмущался. — Тина, вонь, запущенность». Трясогузки сидят, сидят да как взовьются, да боем на гостя, затрепыхаются, заперевертываются, что скомканные бумажки, и раз! — опять на коряжину либо на камень синичкой опадут, хвостиком покачивают, комара караулят, повезет, так и муху цапнут.

С гор напоздали, цепляясь за колья огорода, лезли на жердь нити повилики, дедушкиных кудрей и хмеля. Возле бочажины незабудки случались, розовые каменные лютики и, конечно, осока-резун. Как без нее обойдешься?! Среди лета огородную кулижку окропляло солнечно-сверкающим курослепом, сурепкой, голоухими ромашками, сиреневым букашником, а под них, под откровенно сияющие цветы и пахучие травки лез, прятался вшивый лук, золотушная трава, несъедобная колочка. Кулижку не косили, привязывали на ней коня, и он лениво пощипывал на верхосытку зеленую мелочь, но чаще стоял просто так, задумчиво глаза в заречные дали, или спал стоя.

Ни кулижку, ни огородные межи плугом не теснили — хватало пространства всем, хотя и прижали горы бечевкой вытянувшуюся деревушку к самой реке.

Левого прясла у огорода не было — семья мальчика придерживалась правила: «Не живи с сусеками, а живи с соседями» — и от дома и усадьбы, рядом стоящих, городьбой себя не отделяла. Впрочем, межа тут была так широка, так заросла она лопухами, коноплей, свербигой и всякой прочей дурниной, что никакого ограждения и не требовалось. В глухомани межи, вспененной середь лета малиново кипящим кипреем и мясистыми бодяками, доступно пролезать собакам, курам, мышам да змейкам. Случалось, мальчик искал в меже закатившийся мячик или блудную цыпушку — так после хоть облизывай его — весь в кипрейном меду. Густо гудели шершни в межах, вислозадые осы и невзрачные дикие пчелы; титьками висели там гнезда, словно бы из обгорелых пленок слепленные. В них копошилось что-то, издавая шорохи и зудящий звон. Непобедимое мальчишеское любопыт-

ство заставило как-то ткнуть удилицем в это загадочное дырчатое сооружение. Что из того получилось — лучше и не вспоминать...

Баня шатнулась в лог, выпадывая из жердей, точно старая лошаденка из худой упряжи, и только заросли плотного бурьяна, подпершие баню со всех сторон, казалось, не давали ей укатиться под уклон. Зато воду на мытье и поливку таскать было близко, зато лес рядом, земляника, клубника, костяника, боярка зрели сразу за городьбой.

На хорошем, пусть и диковатом приволье располагалось родное подворье мальчика, и небогато, но уверенно жилось в нем большой, разнокалиберной семье. Народ в семье был песенный, озороватый, размашистый, на дело и потеху гораздый.

Из бани, чтобы попасть во двор, надо пересечь весь огород по широкой борозде, которую чем дальше в лето, тем плотнее замыкало разросшейся овощью. С листьев брюквы, со щекочущих кистей морковки, с твердо тыкающихся бобов — отовсюду сыпалась роса, колола и щекотала отмытую кожу, а мелколистная жалица-летунья зудливо стрекалась.

Но какая это боль и горе после того, что перенес мальчик в бане?!

Из ноздрей, из горла выдыхивалась угарная ядовитость, звон в ушах утихал, не резал их пронзительной пилой, просветляясь, отчетливей видели глаза, и весь мир являлся ему новосотворенным. Мальчику все еще казалось, что за изгородью, скрепленной кольями, нет никакого населения, никакой земли — все сущее вместилось в темный квадрат огорода. Леса, горы по-за логом и задним пряслон, примыкающим к увалу, там все равно что в телефоне, висящем в сплавной конторе, — все скрыто: говорит телефон, а никого нету! Вот и постигни!

Нет, за огородом еще огороды, дворы с утихшей скотиной, дома, роняющие тусклый свет в реку, люди, неторопливые, умиротворенные субботней баней. И в то же время ничего нету. Со всем бы потерялся мальчик в ночном подзвездном мире и забыл бы себя и все на свете, да вон в молочном от пара банном окне мутнеет огонек, выхватывая горсть пырея на завалинке. Громко разговаривает в бане, стегая себя веником, повизгивает истомно женский род. Там, в бане, две родные тетки, замужние, еще три

девки соседские затесались туда же. У соседей есть своя баня, но девки-хитрованки под видом — ближе, мол, воду таскать, сбиваются в крайнюю баню. «Молодые халды! Кровя в их пышут!» — заключает бабка. Да уж пышут так пышут! И двойной, если не тройной умысел у девок, набившихся в баню вместе с замужними бабами: выведать секретности про семейную жизнь, надуреться властью и еще каких-никаких развлечений дожидаться.

Клуб им тут, окаянным!

Пять человек в бане было, да еще он, мальчик, шестой путался под ногами и стеснял чем-то девок. Ну они его быстренько сбывли, чтобы остаться в банной тайности одним, ждать, не взглянут ли парни в банное оконце — таким манером парни намечают предмет будущего знакомства в натуральном виде.

Стекло от пара мутное. Надо его рукавом вытереть либо подолом рубахи. Навалятся парни друг на дружку, чего увидят не увидят, но дыхание в груди сопрет, затмение в глазах, гул в голове колокольный, от азарта, от слепости выдавят стекло! Грех и беда! Парни окно нарушат, девкам же быть родителями срамленными, в которой семье построже, так и за волосья трепанными. Но сторожки и чутливы девки, ох чутливы! Улавливают алчно горящий взор еще до приближения к окошку и, обмерев поначалу от знобящей, запретной волнительности, разом взвизгивают, давя друг дружку, валятся с полка, задувают лампу, во тьме, одурев окончательно, плещут из ковша в окно и никак не могут попасть кипятком в оконный проруб — как бы, упаси боже, и в самом деле не ожечь глаз, что подсекает девичье сердце на лету.

Голова и размягчившееся тело мальчика остывают, укрепляются. Увядавшее от жары сознание начинает править на свою дорожку; шея, спина и руки, сделавшиеся упругими, снова чувствуют жесткие рубцы холщовой рубахи, плотно облепившей тело, чисто и ненасытно дышащее всеми порами. Сердечко, птичкой бившееся в клетке груди, складывает крылья, опадает в нутро, будто в гнездышко, мягко выстеленное пером и соломками.

Банная возня, вопли, буйство и страх начинают казаться мальчику простой и привычной забавой. Он даже рассмеялся и освобожденно выдохнул из себя разом все обиды и неудовольствия.

Губы меж тем сосали воздух, будто сладкий леденец, и мальчик чувствовал, как нутро его наполнялось душистой прохла-

дой, настоящей на всех запахах, кружащих над огородом, будто над глубокой воронкой: растущей овощи, цветочной пыли, влажной земли, окропленной семенами трав и острой струйкой сквоящего из бurlьянов медового аромата.

Где-то во тьме чужого огорода раздался сырой коровий рев — дерануло из бани чадо, которому отскабливали ногтями цыпки, драли спину волосяной вехоткой. Хрястнула затрещина, бухнула банная дверь — и горестный голос беглеца одиноко и безответно затерялся в глухотеми. Суббота! Вопят и стонут по деревенским баням терзаемые дети. Добудут они, сердечные, сегодня столько колотушек, сколько за всю неделю не сойдется.

Мальчик обрадованно поддернул штаны — у него-то уж все позади! Ковырнул из гряды лакомую овощь: «Девушка в темнице — коса на улице». Мала еще «девушка»-то, и рвать ее не велено, да никто не видит. Потер морковку о штаны, схрумкал, размотал огрызок за косу и метнул его во тьму.

Такое наслаждение!

А ведь совсем недавно, какие-нибудь минуты назад, подходил конец свету. Взят он был в такой оборот, ну ни дыхнуть тебе, ни охнуть. Одна тетка на каменку сдает, другая шайку водой наполняет, девки-халды толстоляхие одежонку с него срывают, в шайку макают и долбят окаменелым обмылком куда попало. Еще и штаны до конца не сняты, еще и с духом человек не собрался, но уж началось, успевай поворачивайся и, главное дело — крепко-накрепко зажмуривай глаза. Да как он ни зажмуривался, мыло все-таки попало под веки, и глаза полезли на лоб, потому что мыло варят из вонючей требухи, белого порошка и еще чего-то, вовсе уж непотребного — сказывали, в мыловарный котел купорос кладут, собак бросают и даже будто бы ребенков мертвых...

Вырываясь из крепких, сердитых рук, ослепший, оглохший, орал мальчик на всю баню, на весь огород и даже дальше; пробовал бежать, но запнулся за шайку, упал, ушибся. Ругаясь, чиркая черствыми сосцами груди по носу, по щекам, по губам, тетки вертели, бросали друг дружке мальчика и скребли, скребли, так больно скребли! Отплевываясь от груди еще брезгливей, чем от мыла, сторонясь и везде натываясь все же на них — от женщин в бане куда теснее, чем от мужчин! — уже сломлено и покинуто зывывал мальчик, ожидая конца казни. В заключение его на при-

ступок полка завалили и давай охаживать тем, про что бабка за- гадку складную сказывала: «В поле, в покате, в каменной палате сидит молодец, играет в шелкунец. Всех перебил и царю не спу- стил!» Царю! А он что? Хлещите...

В какой-то момент стало легче дышать. Далеко-далеко вечер- ней мерцающей звездой возник огонек лампешки. Старшая тет- ка обдала надоедного племяша с головы до ног дряблой во- дой, пахнувшей березовым листом, приговаривая как положено: «С гуся вода, с лебедя вода, с малого сиротки худоба...» И от присказки у самой обмякла душа, и она, черпая ладонью из ста- рой, сожженной по краям кадки, еще и холодяночкой освежила лицо малому, промыла глаза, примирительно воркуя: «Вот и все! Вот и все! Будет реветь-то, будет! А то услышат сороки-вороны и унесут тебя в лес, такого чистого да пригожего». Мальчик успел лизнуть мокрую ладонь тетки, смочил спекшийся рот.

Нутро бани смутно обозначалось. Литые тела девок на ослиз- лом полке, бывшие как бы в куче, разделились, и не только гру- ди, но и косматые головы у них обнаружили под закоптелым потолком. Мальчик погрозил им кулаком: «У-у, блядишшы!»

Девки взвизгнули, ноги к потолку задрав, и принялись гром- ко лупцевать друг дружку вениками, бороться схватились, упали с полка, чуть лампу не погасили. На деревне поговаривали, что девки любят прятаться в теплых банях с парнями, а соперницы подпирают бани кольями, учиняют посрамленье, на крик сбega- ются матери и принародно таскают девок за волосья, те зарезан- но вопят: «Мамонька родимая, бес попутал! Разуменье мое сла- бое затмил...»

Ввергнутый в пучину обид, ослабевший от банного угара, с болью в коленях и в голове, уже оставленный и забытый всеми, хлюпя носом, мальчик отыскивал в глухом углу возле каменки свою одежку. Свет все еще дробился в его глазах, и девки на полке то подскакивали, то снова водворялись на место, а маль- чику так было жалко себя, так жалко, что он махнул рукой на де- вок, не злился уж на них, сил не было не только на зло, но и ру- баху натянуть.

Соседская девка, к которой в открытую ходил жених, отве- давшая сладкого греха, но еще не познавшая бабьих забот и пе- чалей, главная потешница в бане была, она-то и вытащила из угла мальчика, тренькнула пальцем по гороховым стручком тор-

чащему его петушку и удивленно спросила: «А чтой-то, девки, у него туто-ка? Какой такой занятный предмет?» Мгновенно переключаясь с горя на веселье, заранее радуясь потехе, мальчик поспешил сообщить все еще рвущимся от всхлипов голосом: «Та-ба-чо-ок!»

«Табачо-о-ок?! — продолжала представленье соседская девка. — А мы его, полоротыя, и не заметили! Дал бы понюхать табачку-то?»

Окончательно забыв про нанесенные ему обиды, изо всех сил сдерживая напололам его раскалывающий смех, прикрыв ладошками глаза, мальчик послушно выпятил животишко.

Девки щекотно тыкались мокрыми носами в низ его живота и раздражались таким чихом, что уж невозможно стало дальше терпеть, и, уронив в бессилии руки, мальчик заливался, стонал от щекотки и смеха, а девки все чихали, чихали и сраженно трясли головами: «Вот так табачок, яс-три его! Крепче дедова!» Однако и про дело не забывали, под хохот и шуточки девки незаметно всунули мальчика в штаны, в рубаху и последним, как бы завершающим все дела хлопком по заду вышибли его в предбанник.

Такая тишина, такая благодать вокруг, что не может мальчик уйти из огорода сразу же и, пьянея от густого воздуха и со всех сторон обступившей его огородной жизни, стоит он, размягченно впитывая и эту беспредельную тишь, и тайно свершающуюся жизнь природы.

Пройдет много вечеров, много лет, поблекнут детские обиды, смешными сделаются в сравнении с обидами и бедами настоящими, и банные субботние вечера сольются и останутся в памяти дивными видениями.

...На твердых, круто согнутых коленях деда сидит человек. Дед обломком ножа скоблит располовиненную брюкву и коричневым от табака пальцем спихивает с поцарапанного брусом лезвия истекающую соком мякоть в жадно распахнутый зев. Пошевелит языком малый, сделает вдох — и лакомство живым током прошибает его вздрагивающее чрево, растекается прохладно по жилам. «Вот дак варнак! Вот дак варначина! Не жевавши мякает!» — сокрушается дед и, кося на малого ореховым глазом, убыстряет работу, чтобы и самому полакомиться брюквенной скобялкой. Но внук никакого роздыху не дает ему и без усталости

держит разинутым ловкий рот. Если дед все же вознамерится понести к своим усам ножик с лакомством, малый, клюнув ртом, схватывает с ножа крошево и по-кошачьи облизывается. «Обрежешься!» — стучает его по лбу черенком ножа дед и с удивлением обнаруживает: одна лишь видимость от овощи осталась, обе половинки брюквы превратились в черепушки. Дед нахлобучивает на голову внука половинку брюквы, спихивает его с колен и отправляется в огород, что-то ворча под нос и сокрушенно качая головой.

Посидев на нагретых за день плахах крыльца, мальчик сбрасывает с головы брюквенную камилавку, и куры со всех сторон кидаются доклевывать черепушку. Мальчик опрокидывает водопойное корыто, взбирается на него и, вытянув шею, глядит со двора через частокол в густо заросшее пространство огорода.

Раздвигая развесистые седые листья, дед ходит согнувшись между гряд, отыскивает брюкву покруглей, без трещин и зеленой залысины. «Де-е-е-еда-а-а!» — кричит мальчик, давая понять, что он его видит и ждет. Дед, погрозив внуку перстом, уцеливает наконец брюкву, вытаскивает ее за хрупнувшие космы из рыхлой земли и, ударив ею об ногу, поднимает вверх и осматривает белорылую, с грязной бородой овощь: нет ли червоточины и других каких изъянов. Мальчик нетерпеливо перебирает ногами: «Скорее, деда, скорее!»

Дед ровно бы его и не слышит, бредет по сомкнувшейся борозде, будто по зеленой речке, за ним шуршат волны, остается вспененный след, словно за кораблем, медленно растворяющийся вдали, — листья, ботва, метелки трав с недовольным шорохом выпрямляются, восстают, занимая свое постоянное место на земле.

И снова дед сажит внука на твердые, заплатами прикрытые колени, скоблит брюкву, ворчит, стучает малого черенком по лбу, пока насытившийся, убаженный пузан не зашевелит ртом заторможенно, лениво, и глаза его не начнут склеиваться, и маленькое тельце, что слабая былка, отягощенная росой, прикиннет к выпуклой груди деда и в теплом ее заветрии распустится доверчиво и защищенно.

И тогда совсем осторожно, совсем почти неслышно дед скоблит ножиком брюкву — он сладкоежка, дед-то, и шевелит беззубым ртом, двигает крутыми челюстями, озираясь — не видит ли

кто, как он впал в детство, и для маскировки ворчит в бороду: «Ат ведь варначина! Ат ведь неслук! Умаялся!» — и пытается есть и петь одновременно, покачивая на коленях внука: «Трынды-брынды в огороде, при честном при всем народе...» Но тут же стопорит с песней — дальше в ней слова не для внука. Вот уж подрастет, ума накопит внучек, глядишь, до чего самоуком дойдет, чего от старших нахватается, а пока шабаш, пока мри, дед, не дай бог, сама услышит!

Мальчик не может понять, спит он или еще не спит. Ему хорошо, уютно на коленях, под щекочущей бородой деда, за которую, в знак благодарности, надо бы теребнуть старого, но разморило так, что даже руку поднять нет сил, да и видеться начал очень знакомый голозадый человечек — вот он перебирается руками по частоколу, пыхтит, продвигается к жердяным воротцам. Неровность какая-то под розовую ступню или меж пальцев подвернулась, закачался малыш, упал голым местом в крапиву. Рев. Слезы. Бабка, выдернув вицу из веника, сечет крапиву, приговаривая: «Вот тебе! Вот тебе, змея жалючая!..» И всовывает вицу в руку мальчика. Он со всего плеча лущует крапиву, аж листья летят, и тем утешается, по щеке катится остатная слеза, и, слизнув ее, солоноватую, языком, малый делает еще одну попытку встать на ноги и двинуться вдоль частокола на кривых, подрагивающих ногах.

А сзади хвалят, поощряют, тормозят: «Эдак! Эдак! Эдак, дитячко!»

И вот наконец наступило жуткое, ослепляющее счастье первого самостоятельного шага! Мальчик отпустился от городьбы и на неверных, жидких еще ногах ковыльнул по двору. Все в нем остановилось, замерло: глаза, сердце, дух занялся, и только ноги, одни ноги шли и сделали два огромных, может быть, самых огромных, самых счастливых шага в жизни!

Чьи-то руки подхватили его, уже падающего наземь, подхватили и с ликующим возгласом: «Поше-ел! Поше-о-о-ол!» — подбросили вверх, в небо, и он летал там, кувыркался, а солнце то закатывалось во двор, приближалось вплотную к глазам, то мячиком отскакивало за огород, к лесу, на хребтины гор. Пронзенный восторгом победы, захлебнувшийся высью, мальчик ахал, смеялся, взвизгивал и, не сознавая еще того, первый раз ощутил отраву жизни, которая вся состоит из такого вот опасного поле-

та, и только сознание, только вечная надежда: под тобой, внизу, есть крепкие руки, готовые подхватить тебя, не дать упасть и разбиться о твердую землю, — рождает уверенность в жизни, и сердце, закатившееся в какой-то дальний угол обмершего нутра, разожмется, встанет на место, и сам ты не улетишь к «едренефене» — по выражению дедушки, неисправимого, как заверяет бабка, ругателя и богохульника.

Примыкающий к задам дворовых построек клочок жирной земли, забранный жердями, удобренный золой и костями, был прост и деловит с виду. Лишь широкие межи буйным разноростом да маковый цвет недолговечным полыханием освещали огород к середине лета, да и мак-то незатейный рос, серенького либо бордового, лампадного цвета с темным крестиком в серединке. В крестике бриллиантом торчала маковка, пушисто убранная, и в пухе том вечно путались толстые шмели. «Кину порохом, встанет городом», — сеючи мак, вещала бабка. Была и еще одна роскошь — непроходимым островом темнел среди огорода опятнанный беленькими цветами горох, который без рук, без ног полз на бадог. Иным летом в картошке заводился десяток-другой желтоухих солноротов, часто до твердого семечка не вызревавших, но беды и слез все-таки немало ребятам от них было. Широкомордые, рябые подсолнухи притягивали к себе не только пчел и шмелей, вечно в них шарящихся и роняющих яичную пыльцу, они раззуживали удаль юных «огородников». Продравшись в огород, поймав солнорот за шершавый, «под солдата» стриженный затылок, налетчики клонили его, доверчиво развесившего желтые уши, долу, перекручивали гусиную шею, совали под рубаху и задавали тѣку в лес, пластая штаны о сучья городьбы. Везде и всюду репу и горох, как известно, сеют для воров, а в селе мальчика — подсолнухи. И вот что непостижимо: изловив в огороде младого налетчика, тетеньки и особенно дяденьки, сами когда-то промышлявшие огородным разбоем, с каким-то веселым, лютым сладострастием полосовали жалицей по беззащитному заду лиходеев.

Сожжение на костре — забава по сравнению с сибирской жалицей. На костре, если дрова хорошие, — пых — и сторел! А вот после жалицы недели две свету белого не видно, ни сесть, ни лечь. Выть, только выть, слезами обливаться и каяться перед

бабкой, умоляя ее помазать сметаной место, подвергнутое истязанию.

Что еще красивого было на грядках? Нюхотки! Невесть откуда залетевшие, взойдут они, бывало, и до самых холодов прожигают углями гущу зелени. Табак еще украдчиво цвел на бросовых грядках. Добрые гряды под табак ни одна крестьянка не отдаст, считая растение это зряшным и делая потачку мужикам только потому, что без них, без мужиков, в хозяйстве не обойдешься и никого не родишь, и, стало быть, продление роду человеческого остановится.

На межах, там разнообразней и свободней все. Там кто кого задавит, тот и растет, дуря от собственного нахальства. Конечно же, конопля, полынь, жалица, репейники да аржанец-пырей любую живность заглушат. Однако ж нет-нет да и взнимутся над тучей клубящимся бурьяном стрелы синюхи, розетки пижмы либо татарник заявит о себе. Властно оттеснив мускулистым телом тощую мелкоту, ощетинясь всеми колючками, обвесится татарник круглыми сиреневыми шишками и живет долго, цветет уверенно; или взметнется над межой нарядный коровяк, сияет дураковатым женихом, радуется самому себе.

От ранней весны и до самой зимы, изгнанный отовсюду, клятый-переклятый, лопатами рубленный, свиньями губленный, у заплотов, в устье борозд, на межевых окраинах шорохтел длинными ушами непобедимый хрен.

Ну вот и вся, пожалуй, краса, весь наряд и все прелести русского огорода. По весне природа на родине мальчика чуть веселей, да вся она по-за огородом, вся по хребтам, поймам речек, лугам, еланям. Зато весной раздолье в огороде какое!

Поставив в церкви свечку, помолившись святым отцам, охранителям коней, в первый день мая по старому стилю выводил лошадей дед в огород, к плугу, а бабка тем временем поясно кланялась с крыльца ему — пахарю, молилась земле, огороду, лесу. Лемех легко, забористо входил в огородную пуховую прель, играючи шли с плугом конишки, пренебрежительно махали хвостами, отфыркиваясь: «Разве это работа?! Вот целик коренить — то работа!»

Серая фигура деда, темная на спине от пота, горбится над плугом, и бежит по запяткам его вилючей змейкой ременный бич. Нестерпимо манит приступить ногою бич. Дед сердито под-

бирает рукой черенок, чтобы жогнуть внука, и жогнет, коли не поспеешь в рыхлую борозду упасть. «Ну погоди, бесенок! Опояшу я те, опояшу!»

В конце борозды дед выворачивает плуг из земли и располагается возле бочажины — подымить. Бабка, подрубив ладонью свет, стоит на крыльце и обсуждает сама с собою поведение деда: «Как борозда, так и папирёска! Как борозда, так и папирёска! Ты к Петровкам-то справишься ли?!» — «Не-е, к Ильину дню, если Бог пособит!..» — ухмыляется дед и свойски подмигивает малому, каково, дескать, мы ее!..

Хватив дверью избы так, что скворцы и галки в бороздах подпрыгивали, будто от выстрела, бабка исчезала, а мальчик с дедом смотрели в огород, половина которого как бы вывернута черной овчиной наружу, другая же в серой пленке, оставшейся от снега.

На пахоте происходило обжорство: скворцы, галки, вороны хватали и хватали студенистых червей, обнаженных и порезанных плугом. Боязливые серые плишки и те промышляли на пахоте, вихляясь над бороздами; даже малая мухоловка сидела на жерди и, дождавшись своего момента, спархивала вниз и, чего-то ухватив с земли, несла на городьбу и торопливо склевывала. Лесные птички спускались с гор к огороду и терпеливо ждали, когда налопаются и задремлют важно, хозяйски вышагивающие по бороздам нарядные и сытые скворцы, напоминающие сельских купчиков. Не выдержав искушения, птахи, мелькнув над городьбой, уносили с борозды козявку, жука, личинку какую, а скворец уж непременно в погоню — этакая загребущая скотина! Да где ему настичь стремительную дикую птаху, та юрк — и в кустах!

Пахать черноземные огороды легко, боронить и вовсе удовольствие. Наперебой лезли парнишки на спину коня, таскающего борону по огороду, затем к плугу приспособлялись, и, когда их возраст подходил годам к десяти, они и на пашне, и на сенокосе уже умели управляться с конем и в застолье уж лишними не числились, сидели твердо среди работников, ели хлеб и огородину, своим трудом добытую.

Тяпки в тех местах никто от веку не знал. Картошку не окучивали — огребали руками. Назем в землю не клали, его вывозили за поскотину. Лишь малую часть его использовали на огуреч-

ные, «теплые» гряды. Ворочали их почти в пояс высотой. Лунки выгребали такие, что чернозема в них входила телега.

В ночное время (от глаза) бабка с наговорами закапывала в грядку пестик, похожий на гантель, для развития мускулатуры употребляемую. Пестик утаивался в грядку для того, чтобы огурец рос как можно крупнее.

В согретой гряде напревали серенькие грибки и тут же мерли, ровно ледышки иставали бесследно. Выступали реснички травы в борозде, кралась на грядку повилика, и в душу сеяницы начинали закрадываться сомнения: всхожее ли семя было? Но вот в одном-другом черном глазу лунки узким кошачьим зрачком просекалось что-то. Примериваясь к климату, промаргиваясь на свету, зрачок расширялся и не сразу, не вдруг обнаруживал два пробных, бледных листика. Настороженные, готовые запахнуть от испуга, они берегли в теплой глубине мягкую почку огуречной плоти, робкий зародыш будущего растения. Пообвыкнув, укрепясь, собравшись с духом, два листочка выпускали на волю бойкий шершавенький листок, а сами, исполнив службу, отдав всю свою силу и соки свои, никли к земле, желтели и постепенно отмирали, никому уже не интересные и никем не замечаемые. Огуречный листок, воспрянув на свету, тоже робел от одиночества, простора земли и изобилия всякой зелени, принюхивался недоверчиво к лету, зябко ежась и цепеня от ночной изморози.

Нет, не закоченел до смерти огуречный листок, удержался и потянул по зеленой бечевке из мрака навозных недр лист за листом, лист за листом, там и усики принялись браво завинчиваться на концах бечевки, пополз листной ворох в борозды, так и прет друг на дружку. И, как всегда неожиданно, засветится в одной из лунок, в зеленом хороводе, желтенький цветочек, словно огонек бакена среди зеленой реки.

Живая искорка — первовестник лета! Первый цветок этот всегда почти являлся пустоцветом, потому что солнца, тепла и сил его хватало лишь на то, чтоб цвести. Но, как бы указав дорогу цветам более стойким, способным и плодоносить, пустоцвет быстро угасал, свертывался, и его растеребливали и съедали земляные муравьи.

Под жилистыми листьями, под зелеными усатыми бечевками светлело от желтых огоньков, гряда, что именинный пирог, пламенела цветами, и хоровод пчел, шмелей, шершней, ос вел на них

шумную и хлопотливую работу. Глядь-поглядь, в зеленом при- тихшем укрытии уже и огурчишко ловко затаился, пупырчатый, ребристый, и в носу у него шушулиной сохлый цветок торчит. Скоро выпала шушулина, и под ней скромно и чисто заблестело белое рыльце огурца, лучиками простреленного до круглой жупки. Зябкие прыщи, морщины выровнялись, огурец налился соком, заблестел, округлился с боков, и ему тесно стало под листьями, воли захотелось. Вывалился он, молодой, упругий, на обочину гряды, блестит маслянисто, сияет, наливается и укатиться куда-нибудь норовит.

Лежит огурец-удалец, дразнится; семейство ревниво следит друг за дружкой, особенно за мальчиком, чтобы не снял он огурец-то, не схрумкал в одиночку. Съесть огурец хочется любому и каждому, и, как ни сдерживайся, как ни юли, проходя по огоро- ду, обязательно раздвинешь руками резные, цепкие листья, поди- вуешься, как он, бродяга, нежится в зеленом укрытии, да и по- спешешь от искушения подальше.

Но, слава тебе господи, никто не обзарился, не учинил ковар- ства. Уцелел огурец, белопулый молодец! Выстоял! Бабка сорва- ла его и бережно принесла в руках, словно цыпушку. Всем вну- чатам отрезала бабка по пластику — нюхнуть и разговеться, да еще и в крошку для запаха половина огурчика осталась.

Окрошка с огурцом! Знаете ли вы, добрые люди, что такое окрошка с первым огурцом! Нет, не стану, не буду об этом! Не поймут-с! Фыркнут еще: «Эка невидаль — огурец! Пойду на ры- нок и куплю во какую огуречину — до-о-олгую, тепличную!..»

* * *

Огуречная гряда располагалась ближе к воротам, чуть в сто- роне от остальных гряд и почему-то поперек всего порядка. Ров- ными рядами, вроде ступеней на городской пристани, катились овощные гряды до середины огорода. На одной из них, самой до- ступной, чтоб ногами попусту другую овощь не мяли, пышно зе- ленело ребячье лакомство — морковка. Две-три гряды остри- лись стрелами репчатого лука. Следом, опустив серые ребристые стебли, вкрадчиво шелестел лютый фрукт — чеснок. В стороне от тенистых мест, чтобы солнце кругло ходило, и от огурцов по- дальше — огурец и помидор не сопутники в роду-племени ого- родном — к лучинкам привязаны тощие-претощие дудочки с кве-

лыми, аптечно пахнущими листьями. После прелой избыной полутеми, где росли они в ящиках и горшках, помидорные серенькие саженцы словно бы решали, что им делать — сопротивляться или помирать в этой простудной стороне? Но вокруг так все перло из земли, так ластилось к солнцу, что и помидорные дудки несмело наряжались в кружево листьев, пробно зажигали одну-другую бледную звездочку цветка, а вкусив радости цветения, помидорные дудки смелели, лохматились, зеленые бородавочки из себя вымучивали, после уж, под огородный шумок да под земельный шепоток, обвешивались щекастыми кругляками плодов, и ну дуреть, ну расти — аж пасынковать их приходилось, обламывать лишние побеги и подпирать кусты палками, иначе обломятся, рухнут ветви от тяжести.

«Под дубком, дубком свилась репа клубком», вечно у нее лист издырявлен, обсосан — все на нее тля какая-то нападает, лохмотья иной раз одни останутся да стерженьки, но она все равно растет, выгуливает плотное тело, понимая, что радость от нее ребятишкам. Как-то отчужденно, напористо растет свекла, до поры до времени никем не замечаемая, багровеет, кровью полнится; пока еще шебаршит растрепанно, но тужится завязаться тугим узлом капуста. «Не будь голенаста, будь пузаста!» — наказывала бабка, высаживая квелую, блеклую рассаду непременно в четверг, чтобы черви не съели. Широко развесила скрипучие, упругие листья брюква, уже колобочком из земли начиная выпирать. Обочь гряд светят накипью цветов бобы, и сбоку же, не обижаясь на пренебрежительное к себе отношение, крупно, нагло и совершенно беззаботно растут дородные редьки. Шеломенчихой их обзывает бабка. Шеломенчихой — вырви глаз! Миром оттерли шелопутную бабку Шеломенчиху на край села, почти в урём. А она и там в землянухе своей без горя живет, торгуя самогонкой, твердо выполняя бабье назначение. «У тебя ведь и зубов-то уж нету почти што, а ты все брюхатеешь!» — возмущались бабы. Шеломенчиха в ответ: «Ешли пошариться, корешок еще найдется!..»

За баней, возле старой черемухи есть узенькая расчудесная грядка, засеянная всякой всячиной. То бабкин каприз — всякое оставшееся семя она вольным взмахом развеивала по «бросовой» грядке, громко возвещая: «Для просящих и ворующих!»

У леса, спустившегося с гор и любопытно пляшущегося через заднее прясло, темнела и кудрявилась плетями труженица-кар-

тошка. Она тоже цвела, хорошо цвела, сиренево и бело, в бутонах цветков, похожих на герани, ярели рыженькие пестики, и огород был в пене цветов две целые недели. Но никто почему-то не заметил, как цвела картошка, лишь бабка собрала решето картовного цветку для настоя от грыжи. Люди ждут не чем она подивит, а чего она уродит. Так в жизни заведено — от труженика не праздничного наряда и увеселений требуют, а дел и добра. Его не славословят, не возносят, но когда обрушивается беда — на него уповают, ему кланяются и молят о спасении.

Ах, картошка, картошка! Ну разве можно пройти мимо, не остановиться, не повспоминать?

Моему мальчику не довелось умирать от истощения в Ленинграде, даже голодать подолгу не приходилось, но об огородах осажденного города, размещенных на улицах, в парках, возле трамвайных линий и даже на балконах, слышал он и читал. Да и в своих краях повидал огороды военной поры, вскопанные наспех часто неумелыми, к земляной работе не способными руками. Не одни ленинградцы летом сорок второго года молитвенно кланялись кусту картошки, дышали остатным грудным теплом на каждый восходящий из земли стебелек.

* * *

Первой военной весной мой мальчик, ставший подростком, учился в городе и вместе с фэзэошной ордою бродил с саками по студеной горной речке, выбрасывая на берег склизких усачей, пескаришек, случалось, и хариус либо ленок попадался. Рыбаки делали свое дело, грабители свое. Они лазили по вскрытым лопатами косогорам и из лунок выковыривали картошку на уху, чаще всего половинки картофелин либо четвертушки. Летом, когда всюду, даже в дачном сосновом бору, меж деревьев взошла картошка, приконченно рыдали и рвали на себе волосы поседевшие от войны эвакуированные женщины, не обнаружив на своих участках всходов. Многие из них на семенной картофель променяли последние манатки, даже детские обуточки и платьвица... И не становилась ведь поперек горла та, омытая слезами, картошка!

Забуть бы про то черное дело, снять с души пакостный груз! Да разве возможно наедине-то с собой лгать?

Если уж по уму да по совести и чести, спаситель наш — огород! Тут и голову ломать незачем. В огороде же том самоглав-

нейший спаситель — скромное, многотерпеливое существо, участью-долей схожее с русской женщиной, — картошка!

В честь картошки надо бы поставить памятник в России. Поставлены же памятники гусям, спасшим Рим. В Австралии будто бы есть памятник овце. Последнему волку Европы скульптуру изваяли! Ну если уж картошке монумент неловко, неэтично воздвигать — плод все же, овощ, тогда тому, кто нашел этот плод в заморских землях, выделил его среди прочих диких растений, в Россию завез и, рискуя головой, внедрял на русской земле. Был ведь в старые, темные времена и картофельный бунт!

В горах и под горами, в болотах и песчаниках, на глине и камешнике, меж дерев и в новине, на вспольях, на отвалах, на вырубках, на гарях, на всякой бросовой почве само собой вылазит на свет и живет растение, почти не требующее ухода и забот — прополи, окучь, и все дело. Есть места, где, задушенная дымом и сажей, никакая тварь не выживает, ничто не растет, даже крапива и всякая жалючая травка сдалась, картошка, набравши цвет, тут же его, почернелый, тряпичный, роняет, и все равно плод в земле наливается и кормит людей! Что есть, скажите, лучше этого растения? Хлеб? Да! Однако хлебу сколь воздано! Сколько о нем спето! Так отчего же, почему же мы, российские люди, не раз, не два спасенные картошкой от голода и мора, забыли про нее? К слову сказать, воин наш русский многим обязан ей, родимой картошке! Где угодно готов это утверждать!

Фронтные дороги длинные, расхлюпанные. Пушка идет, или тащат ее; танк идет, машина идет, конь ковыляет; солдат бредет вперед на запад, поминая к разу кого надо и не надо. А кухня отстала! Все-то она отстает, проклятая, во все времена и войны отстает. Но есть солдату надо хоть раз в сутки! Если три раза, так оно тоже ничего, хорошо три-то раза, как положено. Один же раз просто позарез необходимо.

Глянул солдат налево — картошка растет! Глянул направо — картошка растет! Лопата при себе. Взял за пыльные космы матушку-кормилицу, лопатой ковырнул, потянул с натугой — и вот полюбуйся: розоватые либо бледно-синие, желтые иль белые, что невестино тело, картохи из земли возникли, рассыпались, лежат, готовые на поддержку тела и души.

Дров нету, соломы даже нету?! Не беда! Бурьян везде и всюду на русской земле сыщется. Круши, ломай через колено, пали его!

И вот забурлила, забормотала картоха в котелке. Про родное ведь и бормочет, клятая! Про дом, про пашню, про огород, про застолье семейное. Как ребятишки с ладошки на ладошку треснутую картоху бросают, дуя на нее, а потом в соль ее, в соль и — в рот, задохнувшись горячим, сытным паром.

И нет уж никакой безнадежности в душе солдата, никакого нытья. Замокредло только малость в глазу, но глаз не эта самая, ну как ее? Вот уж и название забывать начал, не говоря про запя. Словом, глаз, как известно, проморгается!

Поел картошки солдат, без хлеба поел, иной раз и без соли, но все равно готов и может вперед двигаться, врагу урон наносить.

Случалось, воды нет. В костер тогда картошку, в золу, под уголья. Да затажное это дело, и бдить все время надо, чтоб не обуглилась овощ. А когда бдить-то? В брюхе ноет, глаза на свет белый не глядят от усталости. Значит, находчивость проявляй — в ведро картошек навали, засыпь песочком либо землю, чтоб не просвистывал воздух, и через минуты какие-нибудь кушайте на здоровье продукт первой важности, в собственном пару! А то еще проще простого способ есть: насыпь полную артиллерийскую гильзу картох, опрокидывай ее рылом в землю, пистонном вверх, разводи на гильзе огонь, а сам дрыхни без опаски. Сколько бы ты ни спал, сколько бы ни прохлаждался — картофель в гильзе изготовится так, что и шкурку скоблить ножом не надо — сама отлупится!..

Нет, я снова о памятнике речь завожу! Картошке, из которой люди наловчились по всему белу свету готовить с лишком две тысячи блюд, опоре нашей жизни — никакого внимания. По гри-веннику всем людям труда — главным картофелеедам — собрать, и пусть самые талантливые художники, самые даровитые скульпторы придумают памятник! Тот, кто умеет сочинять гимны, должен найти самые торжественные слова, и самые голосистые певцы споют картошке гимн на самой широкой площади, при всем скоплении народа.

Не знаю, кто как, я плакал бы, слушая тот гимн!

* * *

Мальчик идет по заросшей тропинке из бани. Жилки травы-муравы, стебли подорожников попадают меж пальцев; тряпично-мягкие цветки гусятника, головки дикого клевера и воровжбы

щекочут промытые, чуткие ступни ног. На меже сверкает конопля, сыплют семя лебеда и полынь, шеборша по листьям лопухов и застарелого морковника. Жалица, пучка, жабрей, чернобыльник чуть слышно шелестят, а вот белена и лопушистый хрен будто в мокрой шубе. Бочком меж них хотел проскользнуть мальчик — не вышло, штаны намокли, тяжелеют и сползают с живота.

Вот и борозда, что широкая дорога, тоже вся поросла пастушьей сумкой и ползучей липкой мокрицей. Удалившись на такое расстояние, где не слышен плеск воды, шум пара на каменке, аханье веников, шальные взвизги девок, мальчик озирается осторожно и приседает на корточки у межи, отделяющей огород соседей. Затаив дыхание высматривает сквозь чашу бурьяна и топкого аржанца, будто сквозь густой отвесный дождь, одному ему известное таинство.

Конечно же, как у всякого делового человека, тайн у него до полна, и он их может поведать другу или дедушке. Вот за баней черемуха. Старый ствол ее умер и засох, вершина обломилась, упала, изорвав сплетения хмеля, опутавшего ее, и прееет теперь черемуха в межевой гущине, от пня наперегонки рванулись коричневые гибкие побеги. Черную кору упавшего дерева сорвало ветром, комель подолбили дятлы, источили короеды и муравьи.

В сухой выбоине старого пня, под навесом рыжего гриба-тутовика устроилась на жительство птичка-невеличка, тихая мухоловка с алой грудкой. Возле нее хахалем вертелся мухолов, которому хотелось петь и веселиться, но хозяйственная, смиренная мухоловка успокаивала его, грустно и терпеливо объясняла, что живут они в соседстве с людьми и следует вести себя скромно. Мухолову семейный прижим надоел, он подался в другое, видать, более разгульное место.

Оставшись покорной вдовицей, мухоловка накрыла маленьким телом гнездышко, и скоро под нею оказались яички чуть больше горошин. Из горошин тех выклюнулись гадкие, на маму совсем не похожие птенцы, но они быстро начали выправляться, и то на голове, то на заде перо у них высовывалось, рахитные пузца усохли, башка вытянулась в клюв, птенцы как птенцы сделались. Пустое гнездышко лежит в черемушном пеньке, мухоловка с ненасытным, писклявым семейством переселилась в межевые заросли — смекайте, дескать, деточки, сами пропитанье, я уж совсем измоталась без мужа. Она и сейчас вон подает голосок

из бурьяна: «Ти-ти! Ти-ти! Ти-ти...» — «Спите, спите!» — птенцов утешает, а у мальчика тоже рот потянуло зевотой — пора отправляться на боковую.

Да, напомнила ему мухоловка другую птичку — белобрюхую ласточку, что каждое лето лепила себе гнездо под застрехой артельного амбара.

Ласточка с ликованием носилась над рекой, взмывала вверх, к облакам, падала на воду, кружилась над домами, над лесом, над горами, впархивала во дворы, сделав вид, что совсем она сюда случайно угодила, стремглав неслась по улице над самой дорогой, щебеча, чурлюкая, всех извещая, что прилетела она из дальних стран и так стремилась к родной сибирской деревушке, прошла сквозь такие расстояния, беды и бури, что совершенно теперь счастлива и, отпраздновав возвращение, порезвившись в радости, сразу же возьмется за дело, отремонтирует гнездышко под застрехой, высидит детей и станет ловить комаров и мошек, и пусть люди не беспокоятся, что она все будет играть, играть и совершенно потеряет голову.

Не потеряла ласточка голову и помнила о своем назначении, думала о будущих птенцах. И все же... все же счастье возвращения ослепило ее, она охмелела и забылась. А маленьким и беззащитным существам никогда не следует забываться.

Прищурился меткий глаз, мальчик метнул камень и сшиб белогрудую ласточку над огородом. Дрожа от охотничьего азарта, он схватил птичку с гряды, услышал ладонями, как часто, срывисто бьется крохотное сердце в перьях. Клюв открывался беззвучно, круглые глаза глядели на мальчика с ужасом, недоумением и укором...

В руку перестало тыкать, глаза птички подернулись туманцем вечного сна, головка опала. Раскрывая ногтями скорбно сжатый клюв, мальчик пускал в него теплую слюну, пальцами поднимал голову, крылья птички, подбрасывал ее, надеясь, что пичужка снова полетит, но птичка скомканно опала на землю и не шевелилась.

Мальчик выкопал стеклом могилку в тени черемухи, устелил ее палыми листьями, завернул ласточку в тряпицу и закопал. «Шило-мотовило под небеса уходило, по-бурлацки певало, по-солдатски причитало...» — вспомнилось ему бабушкино присло-

СОДЕРЖАНИЕ

ОДА РУССКОМУ ОГОРОДУ	5
СТАРОДУБ	55
ПАСТУХ И ПАСТУШКА. <i>Современная пастораль</i>	
Часть первая. Бой	131
Часть вторая. Свидание	148
Часть третья. Прощание	210
Часть четвертая. Успение	229
ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ	
Часть первая. Солдат лечится	259
Часть вторая. Солдат женится	352
ЦАРЬ-РЫБА. <i>Повествование в рассказах</i>	
Часть первая	
Бойе	499
Капля	531
Не хватает сердца	555
Дамка	599
У Золотой карги	621
Рыбак Грохотало	643
Царь-рыба	661
Летит черное перо	682
Часть вторая	
Уха на Боганиде	699
Поминки	747
Туруханская лилия	770
Сон о белых горах	794
Нет мне ответа	897